

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ

СОЛО

18

ДЕБЮТЫ:
ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ЭССЕ

АЮРВЕДА
РОССИЙСКИЙ
ПЕН-ЦЕНТР
1997

Александр РОСЛЯКОВ

ИГНАТИЧ

Был в моей молодости, как раз той, откуда лучше всего, кто собирался, беречь честь, такой загиб. Я вылетел из строительного института и, не долетя до вокального факультета ГИТИСа, который потом успешно закончил, занялся левым (тогда так называлось) промыслом по перетяжке миллиардных столов.

Все вышло просто: не отсачковав двух семестров по профилю, соблазнившему больше всего ничтожным входным конкурсом, я понял, что для меня это — «типичное не то». А «то» — сидело в том, что я с детства слегка бренчал на гитаре, а, главное, был одержим несносной манией, как выразился один милиционер, пресекавший на улице после одиннадцати мой фигурный свист, «издавать звуки». То бишь, именно свистеть, петь — не во всю глотку, так в нос — где ни попадя: в ванной, на уроке, в транспорте, даже под горячей рукой матери — наверное, так хорошо, что еще вечно с доложением на бис сверх одной порции...

Кстати, теперь, отпев почти червонец на профессиональной сцене, ловлю себя на том, что избавился напрочь от этой несуразной страсти. Да и у нас в театре не помню случая, чтоб кто-то распелся не по заказу, от души, зазря, — хотя мы пользуемся исправным спросом и у нас, и (что важней) в проклятом зарубежье.

Говорю так потому, что для нас, при наших нищенских окладах, этот тароватый зарубеж, единственный канал обогащения, на самом деле прорастает в какое-то проклятье. Все страсти, пораженные канальским интересом, только и кипят вокруг. Стыдно признаться, но мы, как заправские менялы, лучше сведущи в текущем спросе миланской барахолки, чем в достижениях того же недоступного нашим тощим портмоне «Ла Скала». Да что «Ла Скала»! Я порой дивлюсь, как еще ухитряемся достигать чего-то сами, варя в гостиницах, чтобы не издержать ни цента зря, на кипя-

тильниками всякую отраву, на почве чего у половины труппы язва...

Ну, а тогда я пел вздох, но, как ни странно, не считал, что это легкомысленное, несостоятельное даже против одного милиционера увлечение может действительно служить профессией. И потому, еще имея какой-то вкус к мастеровитости в руках, и ринулся в строители.

Но нестойкий выбор уже в зародыше был подсечен судьбой. Вскорости один обязательный на курсе, как второгодник в классе, переросток затащил меня в бильярдную Парка Горького, где я живо продул ему всю карманную наличность, да и залип сперва на все послеурочные, а затем и урочные часы.

На блатном языке этот длинный, грязно-зеленый с улицы ангар без окон (так и хочется сказать: без дверей, поскольку вход туда, как в мышеловку прост, а выход труден) назывался Академией. Внутри имелись три ряда в разной степени разбитых злостной денежной игрой столов, и царила атмосфера гулкой замкнутости с табачным дымом и людской разноголосицей, переходящей местами из выяснительных нескладниц в разрывную брань.

Блатной язык вообще остер, зауженный, как сам сугубый мир его носителей, донельзя. Особенно ж горазд до тех явлений и издержек естества, перед которыми стыдливо тупится дар общепроезжей речи, тут самая его обочина! Мог сочинить такое прозвище — кликуху — что не оттереть песком. И впрямь: все эти *крысы, мыльницы, задроченные, холодильники, вампиры, партизаны*, — аферисты и жучки, с которыми я постепенно перезнался, были настолько вылитыми, даже сказать, влитыми в слово, будто не только оно подбиралось под типаж, но и тот уже остаток жизни работал встречно, на довоплощение образа.

Можно было незнающего с улицы послать за тем же старцем Партизаном, и он без труда б угадал из кучи обитателей шибко потертого на мелкоколье трехрублевых игр папашу с двурушной, искоса, оглядкой жертвы и разбойника одновременно, рыщущего в поиске легких партнеров — «фраеров», своей особой, партизанской сапой. Или его ровесник Пионер — шибзик с треугольным алым носом, снабжавшим пенсионное обличье глупостью какого-то неовзрослевшего младенца, перед которым всяк мнил себя чертом и думал, что проглотить легко — его заманка под захожих простофиль...

Про Пионера существовала легенда, каких вообще по Академии, как полагается, ходило множество. Шел еще тех, довоенных, незапамятных лет пионеротряд на какой-то свой слет или макулатурный сбор, под барабан и дудку; один малец, не удержась, свернул пописать — да так и остался до седых волос с кликухой и всегда готовым, чуть не в лапу дело, недержаньем пузыря.

Конечно, в этом мифотворчестве, идущем от жульнической необходимости скрываться, как от улики, от своего действительного под кликухой, всякой липовой и мнимой образностью, — и с прокурором не расплести б, что ложь, что выдумка. Но каков оракул языка, провидевший еще когда, что явятся и минут войны, культы, оттепели, съезды и разъезды, — и только жизнь спустя, к шестидесяти, шнобель бродяги достигнет выдающегося сходства с пионерским галстуком!

И саркастическое званье Академии, с пояснительной добавкой для невежд: «Чего?»— «Наук!» — этот притон светил и темнил лихой игры носил не зря. Водились там игроки-исполнители такой руки, что не будь тогда их искусство в криминале, наверняка достигли бы самых радужных признаний и орбит. А вынуждены были гробить руку нарочитым, для кривых побед, занижением планки в своем замкнутом кругу, только, увы, и способным оценить их рейтинги по классу.

Первой, единственной и неповторимой звездой круга был Левон, симпатичный армянистый толстячок с горячей кровью своих диких и давно забытых гор. Единственный уже тем, что восхищение блатных его игрой присвоило ему, как исключительную честь, право ношения взамен кликухи собственного имени. И миф его, хоть и в таком продувном деле, как игра, был натуральный миф, не вымороченный, продукт не темных вымыслов, а чистого искусства. Он даже мало с кем играл обеими руками и кием, поскольку мало кто мог с ним так тягаться на любых, самых громадных форах. Чаще одной, тычком, или двумя, но каким-нибудь неприспособленным предметом типа длинной ручки швабры или одолженной у старика мазильщика клюки...

Но если стравливался с Генкой Крысой, первым жадиной и аферюгой биллиардной, по тысяче, по тем деньгам, за партию, на «лобовой» форе — в противоположность «дармовой», когда успех еще до игры предreshен в ту или иную сторону, — ради такого зрелища, не уступавшего красотой и ри-

ском цирковому, бросала свою пионерщину и партизанщину и собиралась у центрального, самого лучшего стола вся Академия.

В первом ряду, на специально зафрахтованных стульях, руки на клюках, подбородки сверху — эти самые мазильщики, кто не играют сами, только держат ставки — «мазы» — в тотализаторе на победителя. Самый ушлый люд, состарившийся в биллиардных, почти безошибочный в прогнозах, — хоть и нередко за счет левого сговора и играющими. За их спинами и вокруг — мажущие; шире — просто бескорыстные болельщики...

Большинство, конечно, хоть ставят наугад — кто как, болеет за Левона. Тонкогубый очкарик Крыса играет без эмоций, пронзая, как герметичная крылатая боемашина, в которой за отвратительным и агрессивным внешним телом не видать живого обитателя, как фронт ненастья, ненависть толпы. Ее поносные карканья под руку — для него как дождевой горох в броню, он видит только цель, которую разорвет, если угодит, и сам протяжный удар его кия похож на спуск гашетки.

Левон, который и поносит его громче всех, — обратная картина. В нем бездна темперамента и пластики, позволяющей ему без помощи специального удлинителя — «машинки» — доставать с обеих рук, не глядя на брюшко, такие шары, что не с руки длиннейшему на голову Крысе. Стрasti, в зависимости от удачи, скачут в нем по всей шкале: от детского, неведомого скаредной и скрытной массе, победоносного восторга, до лютой ярости, которой Генка и добивался нарочно до игры почти заведомо бесплодным торгом за надбавку к форе.

Их поединок — символический. Непопулярный даже среди мало щепетильной местной конторы Крыса, конечно, ас холодного расчета и бомбит, умея угадать в другом невидимую тому самому слабину, всю Академию — за исключением Левона. Левон, напротив, как всякий великий мастер, чуть всегда профан, творит игру по-фраерски самозабвенно. Не работает по-генкиному прижимисто над шаром, а то и дело рискует, «бросается» на самый сумасшедший шанс, предпочитая стратегическим шаблонам живую нитку вдохновения, которая, кажется, за пять-шесть часов, сколько обычно длится схватка из десятка-полутора партий, должна лопнуть от перенапряжения, — но именно на пятом-шестом ча-

су Левон и давит Крысу. Фантастически, случайно, серией немыслимых, исходно обреченных на провал или легенду подач, и совершается легенда!

Но алгебраичный Генка, при всей своей крысиной сметке, не сдастся и лезет опять и опять упрямой яичницей на божий дар, видя в нем своими застекленными зрачками только слепой и, значит, в конце концов, победимый силой низкого расчета случай. И хоть раз на раз не приходилось, по редкой в мире справедливости в конечном плюсе был всегда Левон.

Хотя он-то как раз меньше всего сражался ради денег, принимавших при расчете в его пухлых, заводных ручках вид каких-то подсобных участников, фишек в самоценном игровом процессе. Крупный куш, необходимый ему для наступления азарта, вообще, как учила практика, не самый верный. «Куручка клюет по зернышку!» — любил назидательно приговаривать Мыльница, академик не кушевой, но «хлебной», дармовой желательно, игры, умевший как никто сходиться с лопухами, числясь при этом в первой пятерке киев Академии. И пока Левон, захватывая общий дух, балансировал своим отчаянным кушем, как эквилибрист на проволоке, по центру зала, — где-то в сторонке, на дрянном столе, по зернышку червонца, в крайнем случае четвертака, ковал свою не видную, но однозначную всегда победу. Это не значило, что его жадность была умеренной; она у всех там была неумеренной; просто Мыльница, что называется, «боялся куша», — его цепкие створки, аккуратно обсасывавшие жертву до исчезновения всяких признаков мяса, способны были действовать на уровне не выше, скажем, полусотенной. Над пропастью ж за сто и круче внутренний мускул, заменявший сразу совесть, честь и душу, парализовался и самого его делал дармовым.

Левон горел как раз в обратном плане. Мог в многочисловом виртуозном бою нажить кучу денег — и тут же, не в силах унять запал, продуть какому-нибудь недоделку в глупую «железку» — игра наподобие «очка», в угадку номеров дензнаков. За что все эти окружавшие мелочные хищники презрительно именовали его за глаза бараном и животным. Но они же ловко убирали его на окаянный номер, когда Левон, не способный долго существовать, как рыба без воды вне игры, западал, за наименьшем стоящей, на бесценок, где его мускул сдавал начисто. И тогда расклеывали (на сумасшедшей форе, разумеется), как ффраера, по зернышку.

Я сам был свидетелем такого исторического случая: вот так, вполпустую, дурачась с кем-то, с Пионером, кажется, Левон, чтобы развести грошовую тоску, примазал тысячью против рубля на верный шар — и проиграл! Нет, не промазал; старый шар, как бывает только раз в сто лет, разлетелся вдребезги от страшного клопшотса, и только меньшая часть дребезгов влетела в лузу, — не считается! Но при всем нелицемерном сквернословии, состряшем тотчас своды, как-то чувствовалось, что его величию или тщеславию, как угодно, дороже было отдать эту историческую тысячу, чем получить тот плевый рубль.

Роль пропасти исполнял в Академии Мишка Чума, отъемщик. В кругу людей, чье ремесло — обман, не стесненный изнутри ничем, бывает выиграть — только полдела, надо еще выигрыш получить. Иные, точнее, с иными, для избежания таких проблем, играли сразу — деньги в лузу. Но это не всегда с руки, и большинство, хоть с приговоркой: «Как в азовском банке: не пропадет и хрен получишь!» — прибегало к цивилизованному кредиту. И когда наступала «азовская» ситуация, и не помогало включение «счетчика», звали отъемщика. И тот за часть искомой суммы выбивал ее, буквально, из неисправного должника.

Я этого бойца за принудительную добросовестность, заметного своей пружинистой, чуть обезьяней грацией, с разболтанными, слегка удлиненными услужливо руками, никогда не видел в действии. Только слышал, как он, вечно свободный от своих эпизодических трудов, отвечал по телефону в Академии: «Кто это? Это я, Мишка Чума! Кого, Вампира? Вампир, тебя!» Но те, кто видели, говорили, что кулак у Чумы молниеносный, и хоть знал он наверняка один единственный удар — в рог — это был такой верняк, против которого не годились никакие ни боксеры, ни дзюдоисты, — тоже свой гений и легенда Академии. Конечно, и тут мрак правды уходил на дно специфики, но косвенным подтверждением его, перевернутого айсбергом, искусства служил он сам, и факт того, что в долг, коль скоро таковой достигал способной заинтересовать его величины, в Академии верили.

Еще болтали, что у Чумы в мышце был какой-то особый дар доходчивости, заставлявший платить по его векселям и неимущих тоже. Но для меня дольшей загадкой оставался как раз не этот случай. Несостоятельность имела на выбор два относительно простых пути. Либо запряхься на месяц,

два в унижительную для аса, на виду всей бильярдной, чистку фраеров, наверстывая должное «по зернышку». Либо одним махом взять, что называлось, табачный ларек: угроза неба в клетку считалась все же предпочтительней беспросветной «чахотки» от Чумы. Но такие вещи случались в Академии скорей в порядке исключения, нежели правила. Обычно ж игроки играли с игроками, никаких ларьков не грабили, а между тем лихие суммы в кровеносной, а лучше сказать, кровососной системе циркулировали. Но откуда?

Однако со временем, путем пытливых тамошних топтаний я, кажется, уличил сквозь нарочитый внешний хаос какие-то основополагающие закономерности системы. В самом низшем, капиллярно разветвленном основании ее трудились мелкие букашки типа Партизана с Пюнером. Эти по-старательски упорно пропускали через свои отработанные сита небогатенную породу фраеров — ведущее податное словие, исток наживы. Главной технической задачей на этом уровне было не дать «соскочить» фраеру после проигрыша первой трешки, изображая фокус ловкого отъема делом опрометчивого случая, который если прет сейчас сюда, так следом непременно переулыбнется на другую сторону.

Успехом при этом пользовалась, например, инсценировка с «идушим в долю». Когда во фраере уже готова иссякнуть вера в его фраерскую звезду, кто-то из вечно трущихся у столов — он и есть «долист» — подкатывает с честной рожей знатока, широко развитой еще у политических телекомментаторов, и «поет» олуху о явных преимуществах его дурной игры, которая если пока не побеждает, то наверняка победит вот-вот. И, чтобы добить сомнение, просит — верная корысть! — принять в долю, то есть включить в ставку его деньги, и сует их. Фраер на то и фраер, что неизличимо болел самоанием и хочет даром оторвать то, что во всякой, и самой левой сфере тоже, достойные неизбежного искусства. И, подкрепленный лицемерием такого симпатичного жучка, чья бескорыстная идеология подтверждена живой корыстью в доле, «замазывается» еще прочней. Тем более, теперь вместе с его летят и чужие деньги, перед которыми он уже чувствует какую-то моральную ответственность, взборяемую щедрой похвальбой, переходящей своевременно в угрозы с требованием отыгрываться до конца, то есть до полного опустошения кармана. После чего бедняге только остается жалко драпать от стола с фальшивыми проклятиями в спину — поскольку все переданное через фраерские руки тотчас воз-

вращается жучку с какой-то частью, обычно половинной, добычи исполнителя, к которому он на самом деле и шел в долю.

От пчелиной партизанщины, ссасывавшей по капле в горстку с неумех, выигрыш шел в проигрыш трутням более высокого игрового разряда — момент очередной системной аномалии. С фраером ясно: он уж так создан, чтоб жрать идеологический крючок, только оплюй жальце посмачней и погуще. Но сами крючокотворы, твари низкие и ушлые, — что их тянуло к состязанью ввысь? Ведь закон игры, фундаментальный в отрасли, доподлинно известен: выигрывает дающий фору. То есть, в отдельных случаях возможно все — Пионер может, изловчась, надрать Левона, но в целом денежный ток идет по восходящей, вершина живет за счет основания, а не наоборот. И все ж какое-то неодолимое влечение к афере несло едва поднасосавшуюся мелочь на крупняк, на те же в точности, что наживляли сами, жала и крючки. Разве только сама наживка тут была иного сорта и мастерства симуляции: лютное похмелье, припадок ишемической болезни, перелом в натуральном гипсе, который мог невзначай и колонуться при расчете...

Я слышал, например, такую былль про одного известного в Академии гастролера. Фартовый южный городишко, и есть точная наводка, что король местной *академии* (пишется с маленькой, только центральная, при парке Горького, как город Рим — с большой), игрок мыльничной породы, в крупном выигрыше. А поскольку известность в сем неблагодарном промысле прямо противопоказана его успеху, а гость имеет несчастье пользоваться ей в самых широких академических пределах, нет ни малейшей надежды свестись с сыгым впрок и надолго крохобором никаким обычным (хромота, гипс, приступ падучей) образом.

Тогда гость прикупает на толчке у местного базара старый треух, лепит бороду, берет оптом сумку помидоров и раскладывается со всем этим маскарадом за прилавком. Торгует на полтинник дорожке базара, чтоб не раскупали, пока не набредет кто-то из туземных игроков — и ему спускает на двугривенный дешевле. При этом сам базарит всю, исподволь наводит речь на игру, хвастает, что после войны в Доме Железнодорожников всех на миллиарде драл и сейчас любого задерет — не веришь? Только дай доторговать, а денег у него тогда будет много.

Конечно, получает приглашение, десять раз, по бестолочности, переспрашивает дорогу, которую нашел бы и вслепую, задом, ночью, — и на другой день, естественно, находит. Машет трюхом, под которым колтун, какого свет не видывал, базарному знакомцу, видно, уж под мухой: продал все помидоры, еще купил старухе племенного петуха! Достает из сумки напоказ, петух удирает, вся академия кии бросает, ловит петуха, а тот мыльный король, хоть и сытый впрок, против такого дармового идиота устоять не может — и очищает стол. Но гость: нет! Я пока за встречу всех не угощу, играть не стану. Распотрошает узелок с деньгами, а там их — ком, отначивает что надо и шлет местного метеора в магазин. Только я казенного не пью, у меня своя, шестьдесят градусов, крепленая, — вытаскивает пузырек с тряпичной затычкой с какой-то мутной жижей внутри — просто подмутненная вода: кто хочет? Разумеется, никто. Тогда сам отбулькивает хорошо, рыгает, крикает: ну, я готов! — и берет кий не с того конца...

А через пару часов готов, весь в ошарашенном поту, как конь, и местный игрок. Гость же в сопровождении двух откуда-то взявшихся лобастых корешей покидает академию, даря ей на память племенного петуха...

Со средних жил денежная масса транспортировалась в аорту высшей лиги — всего несколько человек, получавших с Левона минимальную, чисто академическую фору. И выше — только сам чернявый бог игры Левон, который не пил, не увлекался «волынкой» (все касательное до женской части), держал вечную форму и, логикой системы, должен был бы стать ее конечным Крезом, Рокфеллером, Онасисом. Но его гений, не корыстный в сущности, страдал, как сердце, сквозным пороком: и... сквозь «железку», карты, все, поднятое вверх, за вычетом каких-то отложений в чулок на черный день и трат на день насущный, спускалось назад для дальнейшей циркуляции...

Но замкнутые системы, как известно, долго не живут, слишком накопительны для собственных же ядов. И здесь вся эта круговая нечисть даром не прошла, ударила вовнутрь, в свое же рыцарское сердце, и, поразив его, решила участь Академии. Так, во всяком случае, мне хочется считать, пусть для других она закрылась позже директивой Моссовета.

Уже несправедливо и несистемно было то, что самый обильный отток уходил без возврата в гнилой желудочек

мазильщиков, фальшивых трясунов, которые не утруждались, не играли сами, даже в низкопробной роли *партизанов* и их налапников, даже в чрезвычайной роли *чумы*. А держали банк на левой мазе, ссужали игроков под бешеный процент и, был треп еще, подстукивали по совместительству. От руки одного из них, бывшего днепронепетровского маркера Лазика, и пал Левон: пропасть заурядной людской подлости оказалась шире той, игровой, над которой он мнил себя и был неуязвимым.

Зачем он вообще с ними связывался? Ясно зачем: из вечной слабины тщеславия, которую они, кормившиеся впрямь и вкось с его стола, умели греть в звезде, раздувая вокруг дополнительный ажиотаж — как будто мало ему было своей подлинной, не дутой славы! Кичась по-своему той подлинностью, он никогда не играл налево. Они ж и единственную, может, на всю Академию честь поработили в пользу своему бесчестию: он им и делал тот ореол мнимой достоверности, без которого б сглох на корню весь липовый тотализатор.

А спекся так... Лазик прознал, что Левон, снимавший где-то угол при фиктивном браке, вступил, не без потачки популярности, за взятку в жилищный кооператив. И уломал за лъстивую монету снести от него башли тоже. Банду торговцев жильем накрыли, вышли на Левона. Левон не раскололся, тогда вышли на Лазика, наперли тем, что доносчик по закону выгораживается от наказания, и Лазик заложил Левона. Левону дали полную катушку — именно за благородство к паразиту, с которого он не имел ни гроша!

Лазик на время скрылся; вся Академия сплотилась редкой солидарностью негодованья, кто-то распускал упрямый слух, что Лазик сам подписал себе приговор, считали дни до исполнения — да так и сбились со счета... Потом эдаким бочком, мразью вполз обратно Лазик. Кто-то что-то сказал ему или хотел сказать; вспомнили про стукаческие дела, что сам бесстрашный против боксеров и дзюдоистов Чума никогда не принимал заказов на мазильщиков, все и заглохло, и пошло по-старому: игроки играли с игроками, Пионер с Партизаном ловили и чесали фраеров, налапники шли в долю...

Уроки Академии, которые я прежде поглощал с жадностью, находя в них какой-то дерзкий концентрат, символику

всей жизни, без Левона сбросили всю свою прелесть, оскучили. Он был их оправдательным лицом, осталась одна пошлая изнанка. Однообразное торчанье у столов уже не окупалось непременно лакомством его игры, в которой я готов был участвовать до бесконечности всей праздной страстью. Я уже знал все, что может Мыльница, что Крыса, что Вампир. Но их часто коммерческие битвы не содержали того захватывающего, генерального интереса, который выходил за рамки вразумительной корысти, огульно заряжая в свою долю всех...

Я продолжал ходить в Академию, но уже больше по инерции, чтобы убить пустое, с окончательным забвением учебы, время; выиграть, если повезет, трешник-другой. Кием я уже владел где-то на уровне Партизана, уступая, конечно, в гигантском опыте по части всяких «поганок»: пропихнуть неходячий шар, незаметно свалить локтем в лузу. Все это считалось незазорным в несправедном изначально деле: бди! заезванное — в пользу жулика. Но в записные игроки я не лез. Не то чтоб из страха пропасти, всех этих низких штук, которые, как понимал, и должны, как всюду, уснащать пути к вершинам. Сами вершины, цели риска, которым уж если отдаваться, так сполна (всякое искусство, академический пример учил, не терпит, как любовный акт, пол-силы) — как-то не довлекали до полной отдачи им. А после общего предательства Левона и зрителем быть интересно перестало. Вот тут-то я и сошелся с Пашкой, щуплым хануриком без кликухи и отчества.

Его специальность, единственная созидательная в лихоборском стане, состояла в настройке луз и латке зеленого сукна на тех разбитых столах. И к ней всякая побочная, вне Академии халтура в промежутках от халтуры основной. Если суперзвезда Левон освоил себе право прямого имени своим слишком высоким, хоть и оборвавшимся трагически полетом, то Пашка, мелкий шкет, щенок до старости, вдобавок замаранный, по перевернутым понятиям среды, каким ни есть трудом, — витал где-то еще ниже уровня кликухи, и чувствовал себя там превосходно. В нем точно от самой природы была вбита какая-то заведомая заданность на вторую роль, благодаря чему любой другой при нем, именно не в свою, а в его отрицательную силу, мгновенно становился первым. Он, как грамматический оборот, требовал страдательного залога, и все попытки иного, как ни бейся, вели только к насилию и ломке самой речи. Такой тип — по соб-

ственному, не лишенному своей любовной нотки оговору: «череп неправильный».

И так, с какой-то бесшабашной безнадегой в жалком взоре, он попросил меня однажды, видно вычуяв своим собачьим нюхом сходно неуверенную душу, подсобить слегка по его части. И когда я, готовый, что называется, со скуки на все руки, не только ловко подсобил, но и не затребовал законной в жлобском мире mzды, сам с благодарностью слетал за «красненьким». И, не успев даже закосеть как следует, предложил мне на всю оставшуюся жизнь сотрудничество «в пополаме». Что при его инструменте и клиентуре и моем незнании дела показалось мне просто грабительской против него аферой — слишком выгодной, чтобы отказаться, для меня. Потом, правда, узнав и мастерство и самого мастера поближе, я понял, что тут он как раз не прогадывал ничуть, даже напротив, — приглашая на роль второго, то есть для него автоматически «бугра», такого небугрового и чуждого академической закваски пацана, как я.

Хотя профессия его и была, по тем временам, довольно прибыльной: обычно сотни полторы за стол; трудов, если не сильно гнать, дня на три, с дополнительной возможностью наживы на сукне и прочей прибуде, — Пашка ухитрялся оставаться самым нищим человеком в Академии. Метеор на своем промысле, уборщица тетя Катя на стакане и пустой посуде жили состоятельней и зарились на него со своих невесть каких кочковий свысока... Вся обширная наука Академии, где он был ветераном, не пошла ему, как вечному студенту-тупице, впрок; не только не прибавила мозгов, но слизала окончательно и те, что были, если были.

С самой работой еще куда ни шло: за четверть века наловчился кое-как тянуть сукно на одну и ту же стандартную фигуру. Хотя и тут, уж наловчившись однажды, даже невпопад, тянул просчет из раза в раз с какой-то суеверной застрашенностью шаблону, менять в котором что-то было для него свыше сил. Видно, от своих же учителей он перенял, как неизбежный чин обряда, и тягу к жульничеству; но и жулил, как работал, тупо, без каких-то артистических затей, с тупой — «башка неправильная!» — покорностью разоблачению. Сопрет кусок сукна так, что слепому видно, и ждет, пока схватят за руку, еще отнимут вдвое своего. Но без этого уже не мог, как без обязательного радостного «красненького» после трудов.

Но дальше, как до денег дело, полный швах. И грянет чудо: щедрый босс заплатит от души, нарочно даст, в опеку промысла, слямзить тот будоражащий душонку курс, — нарежется этим фатальным «красненьким» и в тот же день проиграет все дотла, еще и инструмент впридачу. Но чаще в каком-нибудь учреждении не составит сразу бумагу, или не так составит, или даже так, но рожа такова, что просит наказать, и ходит потом, канючит:

— Чё это, ребята, делали, старались, надо заплатить...

— Без главного не можем. А он — в отпуске (в тюрьме, на сносях, не в духе)...

— Так это, делали на совесть, ну...

— Ты что, дурак, или так родом? Сказано тебе по-русски, кажется! Пшел вон!

И он, по-русски, вон; и завтра — с той же песней, и послезавтра, и на сороковой день, пока наконец у тех не лопнет могильное терпение и не кинут, как псу, причитающееся в пасть. И тогда он, как именинник, радуется воровато, как будто не свои чахоткой выкрутил, а чьи-то отнял лихо:

— Ты чё, крутые тетки! Думал — всё, с концом!

Идет — и пропивает.

И потому такой, как я, был для такого олуха, как он, просто находкой. За то, что я его стабилизировал хоть как-то, брал на себя непосильную для его дряблого косноязычия бомбежку бухгалтерий, при этом не лез, как на моем месте наверняка б всякий другой «академист», в его дырявый и без того карман, — он был готов чуть не вовсе избавить меня от доли в трудах, — но не в «красненьком». Но я, вопреки его собачьей признательности, честно старался строить наш союз наоборот.

И вот, как-то спозаранку он, принципиально не способный мыслить впрок, разбил мой сладкий сон своим неизлечимым телефонным:

— Кто это?

— Я, Паша.

— Что стрялось?

— Тут это, есть работка, можешь?

— Ну...

— Ехать надо, за город. Мужик отличный, не обидит. Там и пожрать всегда, я уже был, за выходные сделаем.

— Вчера не мог сказать?

— Сам, это, забыл... Череп неправильный!

— Скажи уж, что квасил...

— Ну, маленько, чё...

— Ладно, зубы дай почищу.

— Ты, это, не чисти, ехай сразу в Академию. Он уже звонил, мужик крутой...

— Кто хоть?

— Игнатич!

Он так сказал — как душу выпил! Что еще за дармоед? Не под кликухой, не под фамилией, а под отчеством, — что-то новое! Одно доподлинно: раз частник, значит, жулик, значит, живые деньги, возможно даже в натуральном выражении, в зависимости от того, где ворует. Допустим, ничего, если б в одежде, — думал я дорогой, не слишком, по совести, заботясь, насколько это простительно по юношеской снисходительной статье. Академия тогда еще служила пестрой выставкой последних мод, и Мыльница как раз оторвал фасонистые сапоги с металлическим рантом по мыску, — такие только входили в моду и были для меня, нечего скрывать, предметом самых актуальных грез...

Но у Академии меня стерег уезженный жигуль самой дешевой первой марки, — жулье в таких не ездит. Или что-то совсем не настоящее, или уж такой налим, по усы в грязь укрытый! В Академии, куда стаскивались тогда темные людишки отовсюду, существовал этот парадокс: чем ни здоровше позитив в чулке, тем сам чулок задрипанней... Пашка уж торчал на заднем сиденьи жигуля, подавал мне оттуда позывные знаки. Я влез к нему; передних было двое: один, за рулем, — сразу видно, шестерка, пашкина чета; другой — сам пескарь, с тяжелой, крепкой мордой, налитой и плотной, как початок, в новехонькой листе дорогостоящего, со стальным отливом, пиджака. Он тотчас жестом грузной лапы дал команду ехать и потянул лапу, глубоко вмяв спину своего сиденья, назад, ко мне, веско подтвердив:

— Игнатич.

Я сунул в нее, как в щель пропускного турникета мелкую монетку, свою руку. Замок пожатья как бы говорил: суйся сюда и больше не тужи ни о чем на свете. Но я и так ни о чем больно не тужил.

— Студент, Пашка сказал? Строитель? У меня был один прораб, прохвост! Пойдет мерить: туда — семь, обратно — восемь; а метр — один. Небось такой же двоечник?

Но я с несолидностью мальчика разбил сразу иллюзию, сказав, что больше не студент и не строитель.

— Вольный художник, значит?

— Ты чё, Игнатич, — Пашка при всем подобострастии не знал слова «вы». — Он поет как, знаешь? Прямо артист!

— Петь это вы все артисты! Ну и что ты можешь?

Я, наплевав на скромность перед его общительным нахальством, коротко ответил:

— Всё!

— Что, и сбавать?

— Здесь?

— А где ж? В Большом театре это и мы с Семеном спляшем! — он кивнул на отзывчиво заржавшего водителя, тем заодно и представив его. Пашка, гад, тоже подхихикнул.

— Да нет, я могу. У вас не треснет в ухе?

Шофер заржал еще арапистей:

— У Игнатича! Пожалуй! Треснет! Что не встанешь!

— Ну, пожалуйста. Ария...

— Арию не надо. Ты что-нибудь попроще, нашенское. Мы... — Игнатич корпусным движеньем приобщил и низших спутников. — ...народ простой.

Я захлебнул пошире воздуха и грянул во всю глотку, на какую был горазд:

— Чер-ный во-рон!..

Водитель из машины сбоку обалдело вытаращился на нас, Семен даже бросил на миг руль — зажать уши, Пашка их зажал сразу. Игнатич не поморщился. Потом (я не стал их мучить большим, чем полкуплета) протянул лапу Семену:

— Дай спичку, — ковырнул в тяжелом ухе и подвел черту одобрительно: — Прохвост! Натуральный! Ладно, забаваете путем — будет вам премия.

Пашка от счастья был на седьмом небе.

— Слышишь... — зауважал меня после игнатичева «прохвоста» и Семен. — А я хотел спросить, сколько Кобзон гребет? У нас мужики говорили, бабки только так делает!

Но мне нечем было утолить его странно возникший интерес, и самого больше сейчас интересовали не эстрадные куши, а сколько и на чем гребет наш мощный вождь, что так охотно рассыпаются перед ним эти двое. Но встречный иск, по какой-то необъяснимой очевидности, был немыслим.

Мы ж между тем выехали на улицу Горького, откуда неожиданно свернули в переулок перед Елисеевским, с него — в загроможденный тарой тупичок, где багажником к око-

ванной железом подвальной двери уже стояла белоснежная, последней марки «Волга». Игнатич кивком осадил Семена, вылез один; сиденье, изнасилованное тяжелой тушей, жалобно всхлипнуло. Семен качнул его скорей с восхищением, чем с состраданьем:

— Во раздолбал! А менял только!

Подвальная дверь, куда ушел Игнатич, раскрылась, и нашей шестерочной команды прибыло: новый холуй пер неподъемную картонную коробку к «Волге», и Семен вылез к нему, как к старому знакомцу, на подмогу.

— Понял?! — мой Пашка весь светился причастностью к какой-то такой тайне, что не описать пером, да и описывать нельзя. Я ничего не понял.

— Так кто он такой?

— Кто? Игнатич? Тут поменьше спрашивай!

Вот эта складка всех блатных и приблатненных — превращать на ровном месте любой толк в бестолочь! Однажды на этой почве я даже крепко, помимо всякой воли, разбил Пашку. Раз мы с ним в доле, Пашка — «мой», а я — «его»; я мог спросить в Академии: «Где мой?» и дояснять не надо, — уже мы и не должны крыться друг от дружки, — таков закон. Делаем с ним как-то *академию* в Высшей партийной школе; Холодильник, коммунист, навел; а я вечером намылился в консерваторию, как сейчас помню, приезжал на гастроли Маурицио Поллини, мой любимый исполнитель Шопена, — и входные обещали. Отпрашиваюсь у Пашки; а там еще терлись эти партийцы, их хлебом не корми, дай поучить, полясничать, — и все, как есть, публично объявляю. «Гастроли», «исполнитель», — это ему ясно, только кликуха странная и место, — но глазом не сморгнул, все прокивал как надо. Я вовремя переоделся, попрощались, выхожу, он следом: «Ну, ты куда?» Я чуть припешил: вроде подробно объяснились. «Я ж тебе сказал — в консерваторию». «Чё, дуру не гони, кто слышит?» Я говорю: «Паша, вот те крест! Мужик играет классно — не в шары, а на пианино, — и пальцами ему показываю, — хочу послушать». — «Пианину?» — «Ну, не пианино там, а рояль, не веришь — пошли вместе!» — «Я чё, упал? Сказать не можешь?» Смотрю — надулся, конец света! Ладно б, сказал я: футбол, пьянка, бабы, — пусть не про него, хоть дело ясное! Но я ж вижу в его свербящих глазках — не припадочный же я пилить на эту чокнутую «пианину»! Так, на обидной ноте, и расстались, насилу на другой день размочили «крас-

еньким». И я теперь даже подумал: темнит со мной за прежнее?

Но не успел нажать на него покрепче, вышел сам Игнатич, слегка разочаровав меня порожняком рук: я-то надеялся — тоже что-то сцепит; зато за ним — опять тот несун, на сей раз с большим длинным свертком, с конца которого торчал величины непомерной рыбий хвост. Я еще подумал: что за гурман-гигантоман, мало ему обычной нашей замороженной витринной дряни! И когда Семен сел, Игнатич плюхнулся с визгом пружин, а хвост все еще искал и не находил притык в багажнике «Волги», — даже сострил с кивком туда:

— Акула социализма!

Но по особому ржанию спутников уловил, что, кажется, попал пальцем снова в какую-то загадку сложных, недоступных рядовому пониманию небес.

За кольцевой мы нырнули на пустынное, но хорошо заасфальтированное шоссе вдоль мощного водоснабдительного канала, со вздутыми узлами перекачки, и оголившего, видимо, окрестности от людского духа. Периодические повороты в никуда были застрашены где «кирпичами», где шлагбаумами. И вся эта безлюдная запретность придавала пейзажу выражение какой-то военнизированной девственности, и рвали ее, за плечами титана, мы — еще не сделавшие ничего, но словно бы уже повязанные каким-то общим криминалом. Игнатич остановил машину помочиться, и пока буровил землю в сторону канала с двойной мощностью (Пашки, выскочившего следом явно больше от позыва угождения, чем охоты, было и не слышно), — я не утерпел спросить:

— Куда мы едем?

И хоть вопрос по сути был неопределен, Семен с усмешкой понимающего ответил:

— В страну чудес!

И в эту же секунду нас миновала та самая, от Елисея, «Волга», я узнал водителя, — и рожа ближнего усугубила на мое недоуменье радостный, невесть с чего, оскал.

Наконец мы свернули на очередной «кирпич»; через прореху в перелеске взблеснула несметная гладь водохранилища, асфальт привел к поселку, и Игнатич объявил:

— Приехали! Деревня Ковыряловка!

— Что, так прямо на карте?

— На карте ее нет.

Чем сразу отмечалась Ковыряловка — необычайной силой глухих заборов, которые здесь, видно, выполняли ту же показательную функцию, что в Академии всегда демонстративно, всей пачкой четвертных или полусотенных, вынимаемые из кармана башли, — даже если счет на трешник: все равно надо, и в норушной жизни, что-то засветить. И здесь за рослыми заборами светились только верхки утопленных в зеленых куцах крыш: и ничего не видать, и в то же время сразу все, что надо, видно.

И потому, когда мы въехали за наш забор, сезамный вид самого особняка уже не слишком вдарил по воображению; я от другого приоткрыл рот: та белоснежная, как прогулочная яхта, «Волга» стояла мордой к каменному, чуть не шире дома, гаражу. Водитель выгружал припас и как раз пёр, когда мы вылезли, ту рыбину, чей хвост, дорвав обертку, теперь в открытую сверкал кремнистыми шипами по хребту, доселе виденными только на картинках. И мое сердце поневоле ёкнуло, как от впервые обнажившейся в природе, прежде лишь гадавшей в мечтательных подобиях женской груди. Игнатич уловил мой взгляд, но снес к другому:

— Вот так скромно живу, для друзей, — он подмигнул заскалившемуся тотчас Семену. — А то кобыл понакупали, а на конюшню не осталось, пускаю, вот, глядишь, подбросят безлошадного.

Он вроде как заигрывал со мной — таким же для него, как те друзья, подсобным человеком из прислуги. Но зачем?

На крыльцо основных хором выпорхнула пожилая тетка в дачном затрапезе, при перевязанных ниткой покалеченных очках и всем обличью вечной домочадной хлопотуньи и копуши:

— Приехали, Игнатич?!

— А, вот и кума! Покормишь голодающих?

— Секундочку, Игнатич! Только цыплята сжарятся. — Она еще была и острослов. — Порвите ягодки пока, хотите? Попаситесь...

— Это нам Пашка... А ну, точно, айда все, хоть сам нагнись два раза, с грядки слаще...

Но проведя нас к месту сквозь заросли участка, он сам и нагнулся именно два раза, — предоставив, главное, нам с Пашкой на растерзание клубничную плантацию. Верней, терзала нас она, размером с хороший картофельный надел, своей необозримостью и необожримостью. Часть урожая уже перезрела, пала и сгнила, забрызгав грядки точно сгустками

гнилой, приторной крови. Зато другая оставалась не в пример свежа и налита всем ароматизмом и сладостью сорта. И мы как дети подземелья накинудись на дармовщину с жадностью. Пашка еще, подонок все-таки непреломимый, подбирал тайком и жрал гнилье, боясь, видно, что недоедки будут сниться, — даже зоркий хлебосол Игнатич предостерег:

— Не переживайте, обедать будем. Это, — он емким жестом очертил налитые вишни за клубникой и еще недолитые сливы, яблоки и прочую засасывающую благодать, — не убежит, все ваше!

И мне вдруг ни с того ни с сего захотелось рвануть, как заманенному фраеру, прочь от всей этой непостижимой по происхождению грудастости достатка...

Назад пошли другим путем и вышли к застекленной беседке биллиардной, на порожек которой уже были услужливо поданы наши пожитки. Игнатич отомкнул дверь и запустил нас вовнутрь. Я с любопытством огляделся. Штук пять киев, если не «чемодановской» (знаменитый мастер Чемоданов), то близкой к тому работы, с наклейками — и глазом видно, кожа, натуральный бегемот, — стояли навтыжку в специальном поставце. Я взял шар с полки — кость, не обычный дешевый пластик, прокатил по столу — и плита не деревяшка, мрамор. Словом, все не просто дорогое, а в высшей степени достойное, если достоинство в этом, удовольствии. Пашка тем временем обследовал стол, им же в последний раз и сделанный на свой халдейский лад. Эдак пожмет борта, поводит дряблой ладонью по сукну, пощиплет сетки луз, как будто что-то значит, кивая вроде про себя, на самом деле под хозяина: де я-то понимаю, как угодить мастерски, поймешь ли ты угодливую душу мастера и интерес? Хотя, говорю, и мастер был дрянной, только держался тем, что повымирали стоящие, и кивал не впрок: холуйская негодность налицо, а настоящей раскошеливающей убедительности — нисколько. Я даже пробовал было отучать, да плюнул: горбатуму один университет — могила. Игнатич, видно, тоже не любил дурачеств:

— Ты, Паша, тут не кивай, не та контора. Кивать я буду, когда сделаете.

— Ты чё, Игнатич, сделаем все без поганки, благородно!

Я взял кий, ударил пару раз. Заметив, что Игнатич смотрит, киксанул. Заманивать его на игру было немислимо, не-

лепо, — не тот банк! — но игроцкий ритуал сам дергал руку.

— Все с тобой ясно. Сколько форы дашь?

— Умел бы, дал хоть сколько. Вы ж, наверное, хорошо играете?

— Пой, пой! А ну, ставь шары! Одну «американку» на равных!

— Сейчас тебя Игнатич сделает! — завел Пашка свой подголосок, бородатый, как сама азартная игра. — Он игрок!

Игрок Игнатич был плохой; дело все же требует, как скрипка и рояль, сноровки, не солидной вообще в тузовом звании. Действовал он больше напором, наглостью, но... странная вещь: начав шутя, я почему-то не мог перестроиться под него всерьез, темнил, финтил, а шары клал он, мне не хватало духу побеждать его в пустой игре, где он-то и ловил весь смак победы.

— Я думал, ты плохо играешь. А ты совсем не волокешь!

— Дайте фору...

— Кто ж тебе ее даст! Ты про Глухого слышал?

— Так, слегка.

— Вот это был игрок, я выше афериста не встречал! Слух музыкальный, по хрусту трешку от червонца отличал, а начнет сводиться: «По сколько, не слышу?» — «По три!» — «Нет, по тридцати для меня слишком дорого, только по двадцать пять!» — и уже разбивает. Я как-то в Сочи его встретил, лет десять назад, на вокзале. Подходит: «Игнатич, я пустой, выручай!» А у него тогда была игра покруче, чем у Левона, «американку» через одну с разбоя забивал. Даю ему бабки, берем такси, едем в Дом Офицеров. Нашел себе какого-то капитана, стали играть. А он весь битый-перебитый, еще умел так руку держать, как будто там три перелома самое маленькое, ударит — и чуть кием сукно не рвет. Капитан ему два шара дает, а должен получить шесть — и то не угадает. Глухой крихтит, хромает, бьет в угол, шар в середину падает, а тут еще полковник стоял, смотрел-смотрел и говорит: «Товарищ капитан! Как вам не стыдно, с инвалидом играете и всего два шара даете! Нажиться собираетесь?» Я вышел, не могу, от смеха дохну. Ну и приделал Глухой этого капитана, и часы тоже отобрал!

Игнатич вбил последний шар и с удовольствием поставил кий на место:

— Раз с тебя! Пошли. Поешь ты здорово, но шара получишь, так и быть...

И я почувствовал, что будем играть на удовольствии, которое ему дороже денег, уступлю и на шаре, просто из невозможности не уступить, а почему так — даже непонятно.

Наконец мы вошли в дом. Широкая веранда служила в нем столовой, свадебных размахов стол был и уставлен как на выданье: и рыба, и икра, и черт знает что еще. Пашка так, замерев, и впился голодными глазенками, да и я прибалдел слегка. Немыслимо, чтоб это было среди бела дня под нас. Но если даже Игнатич, как надменный Лукулл в ответе каким-то захудалым, заробевшим на его помпезном застолье аллоброгам, угощал только себя самого, — все равно, на самый дерзкий счет, не мыслилось, чтоб даже он так праздновал свой каждый белый день!

У стола вместе с уже знакомой кумой, вертлявой, как шварка на сковородке, — медлительной, законной павой управлялась еще одна женщина. Какой-то успокоенной дебелистью, спелой поволокой в некогда, видно, красивых и большущих посейчас глазах, она невероятно походила на самого Игнатича; его, как стало ясно, половиной и была. Кума же все юморила на ходу:

— Еще Игнатич, полсекундочки!

— А мы пока на балкончикходим...

— Хочешь свой рай им показать? Вот правильно!

Сраженное воображение терялось: что может быть еще за рай в раю? Но Пашка получил команду взять тотчас поданный кумой поднос с бутылкой, стопками и какой-то невинной, на фоне той столовой порнографии, закуской.

— У меня обычай: первую рюмку — наверху.

И мы гуськом пустились в восхождение по лестнице: Игнатич, мощным заходным тузом, впереди; я, темной неразыгранной картишкой, сзади; Пашка, шестерочной «ногой» нашего марьяжа, при подносе, — посередке. Путь в «рай» лежал через сквозную комнату второго этажа, и тут, наперед обещанного, произошло виденье посильней всех чаяний.

Шторы на окнах в комнате были спущены, мерцал беззвучно телевизор, а напротив, в кресле под торшером, сидела девушка с огромными глазами и всем тем, что может дочертить мгновенная на искус живопись души в шемящих красках полумрака. До нас она, видно, читала, раскрытая книжка лежала на ее коленях. Игнатич что-то бросил ей, но я не разобрал ни его слов, ни ее ответа, и проследовал

без остановки дальше. Я только повернулся на миг и встретился с не успевшим даже ничего сказать, но словно таившим что-то взглядом, и, колотясь перетрусившим невесть с чего сердцем, поспешил за следующую дверь. Там было опять светло, обычно, и все виденье позади казалось просто вымыслом самонадеянной фантазии. Тем более Игнатич, так обстоятельно вводивший нас в курс владений, на это, самое в них потрясающее, не отозвался вообще никак, точно веля немедля вычистить из головы, забыть, как пропаганда Годунова убиенного царевича.

Но мы уже добрались до заветного балкончика. Тройка плетеных кресел, столик под закуску, а дальше, за тесовыми перильцами простирался действительно райский вид. Только блеснувшее с дороги, теперь открытое во весь размах водохранилище, окаймленное до горизонта нигде не изувеченной лесистостью холмов, — все это всаживало прямо в сердце удивительный, неопикуемый восторг. То, что родная всем — плохим, хорошим, — мать-природа дала нам как утешительный пример какой-то сумасшедшей правоты всего живого, которому и мы исходно, сроду однокровки! Но люди и тут учинили свой разборчивый дележ, в котором наш хозяин оторвал, конечно, исключительную точку. Весь фокус ее был в том, что густая растительность внизу как раз застила все уличное, лишнее, и оттого вся зелень, синь и даль ландшафта казались как бы поданными, как зелень грядки, к столу: макай, как в мед, и хавай на здоровье!

— Ну что, рай? Может быть что-то выше?!

Да, выше, хотел, видно, быть только сам хозяин рая, — какими только, хотел бы я знать, чертями и какого ада вознесенный!

— В натуре!

Игнатич сам, казалось, чуть охмелел без рюмки:

— Вот сколько здесь перебивало, едят, пьют, а проведешь сюда — больше ничего не просят, только: пойдём, Игнатич, посидим в раю! Ну, сажайте!

Пашка, которому где водка, закуска, там и рай, только и ждал приказа; не знаю, испотрошила ли что-то величая краса в его косоу душонке, но тут и он взошел до вдохновенья тоста:

— Ну, это, Игнатич! Чтоб стоял и деньги были!

— Ай, Пашка, дурень — дурень, а соображает! Свой-то, небось, давно пропилил? Или еще шкернишь тетю Катю потихоньку?

Я закосел слегка от просторного глотка и, пока Игнатич с Пашкой обсуждали стати 60-летней тети Кати, переметнулся мыслями к той, оставшейся у телевизора — несчастной узнице или капризной владычице здешних жуц? Ясно было одно: плод явного запрета. Мне вдруг ужасно захотелось увидеть ее еще, удостовериться в чем-то мелькнувшем, несказанном в больших, только и оставшихся в воображении глазах.

И когда Игнатич сказал:

— Ну, хватит! За столом еще махнете по одной — и работать. Вечером напьетесь, — я сделал резкий рывок вперед, чтобы уличить хоть миг наедине, даже не представляя толком, как им распорядиться.

Но дерзость моя осталась, увы, невознагражденной. В той комнате шторы уже были раздвинуты, телек выключен, в кресле валялась одна книжка; я истребил свой миг на то, чтобы хоть по ней вызнать что-то о читавшей. Но книжка оказалась только пошлой, хотя и острodefицитной тогда «Анжеликой». Все вспыхнувшее невпаад в воображении рассеялось, погасло как экран. Впрочем, чего, какой еще китайской лирики я, сам по преимуществу поклонник всякой хохмы в духе Швейка и Зоценко, собирался ждать?

За стол уселись крепко. Жрали борщ, тех загодя объявленных и лакомых в детстве цыплят, затем явившийся без объявления шашлык, перемежая все это небывалой, все почему-то наводящей на мысль о непристойности и блюде закусью, рассыпанной по столу каким-то подавляющим, в духе оргий, навалом. Даже Пашка, самый голодный блюдоед, сперва как-то зажался, наколов украдкой пару ломтиков какой-то ближней спинки, но, хлопнув под шумок вместо одной рюмки две, разошелся и повел добычу все смелей и дальше от себя в съестном море, замазывая в бутерброде черную икру под белорыбицу. Игнатич, быстро выловив окрестности рта жирком, убирал румяных цыпок без форсажа, мастерски, показывая настоящий, высоты Левона класс, добывая взор количеством уже обглоданных и все неотвратимо прибывающих косточек на специальном, под них, блюде. Он мудро делал: не призывал зазря, чем только пуше б застрашал, к убойной рати, а подавал, с блеском щек, живой узаконяющий пример: все действительно съедобно, усвояемо и бесппроблемно восполняемо. Последнее наглядно подтверждала с каких-то необъятных закулисных залежей подвижница-кума, между тем не забывая и своей тарелки. Хозяйка

глаз с поволокой, напротив, почти не ела, словно сытая вполне одним Игнатичем, участием в его достойной загляденья трапезе: кума что-то поставит, эта подправит, Игнатич на-вернет, шоферы тоже при деле; не было одной — девчонки.

Я изо всех сил старался держаться естественно, но не мог избавиться от ощущения, однажды схваченного в пивной-автомате на улице Хмельницкого, которую тогдашнее студенчество перекрестило в улицу Опохмельницкого, и где я часто пропал, когда не в Академии, с такими же бездельниками, как сам. Раз в этом стойко переполненном при-тоне пробило дозировочный сосок, и пиво хлынуло сплошной халявной струей. Вечная битва мата и локтя вокруг в момент осеклась, точно боясь сбить такое фантастическое, сон всей жизни, чудо, которое смирило и перебрало всех. Мужики в стихийном озарении согласия кинулись, взаимопомо-гая, наполнять по кругу кружки, по-отечески хороня завет-ный родничок от сглаза раскормленной в своей стеклянной сижке, как чушка в хлеве, разменщицы монет. И было в этой коллективной бражке на чужой необратимый счет какое-то дразнящее, ненаказуемое упоенье криминала, на что вообще падка групповая подлость масс... Вот что-то сродное, прорыв какого-то чужого и несметного соска я чувствовал за поедом не в меру сладких явств Игнатича. Они, как та струя, не уто-ляли, только распаяли страсть, — и, сытый по уши, я про-должал с угодливых подач кумы накладывать себе на та-релку еще и еще, следуя осатаневшим естеством (и верь после этого ему!) такому противоестественному аппетитищу.

Честно сказать, за этим делом я даже призабыл про тай-ну девчонки. Но когда мы наконец отвалились как пиявки от ненасытного стола и разошлись: Игнатич — почивать, шо-феры и хозяйки — по своим трудам, мы с Пашкой — к сво-ему, за перекуром на порожке биллиардной вспомнил:

— А кого это он прячет — дочку? Хороша!

Пашка, целомудренно сберегший по женской части ре-бячий комплекс чистого паскудства, аж с перепугу обвалил пепел на штаны:

— Ты... кончай!

— Что именно?

— Сам знаешь! Игнатич, это, сразу оторвет!

— Да кто он такой?

— Кто? Хрен в пальто!

Пашка встал, как будто отрясти штанину, — на самом же деле скрыться от греха в беседку. Но я, чтобы заодно

как-то размять отупенье после еды, с которым смерть не хотелось ничего делать, сграбастал его за плечи и уставил в лоб бычок:

— Ну, колись!

— Череп неправильный! Поставь на место! Ну, начальник он...

— Чего? Табачного ларька?

Шуплый, но скользкий Пашка выкрутился из монх объятий, но продувная рожка сама занялась ужасом и знатностью секретнишца, вздымающего обладателя над всеми вне поля знания. В короткой битве двух равно властных человеческих желаний: поделиться и не упустить, — взял верх болтун, и Пашка вымолвил таким атасным тоном, словно вешал жизни обоих на волосок:

— Да, закачаешься! В колбасном цехе он!

Ну и профессия! Как только, интересно, при таких утайках, — симпатическими чернилами или шифровкой пишется в трудовой? Но меня в сказанном не столько даже потрясло величие самого вора, — вот где акула-то социализма! — сколько пропасть пашкиного низкопоклонства, его заветный родничок, в котором эта тварь барахталась каким-то настоящим божеством, языческим кумиром! И можно было, чувствовалось, сколько угодно тиранить, жечь бычком моего напарника, но вырвать чудо-струйку — только с сердцем. И даже, подумал я, стрясись что промеж нас с Игнатичем — и Пашка-друг возьмет скорей всего не мою сторону. А впрочем, что могло стрястись? Мы прибыли сюда за своим суверенным делом, к которому, кстати, как ни крути, пора было приступить.

Вступительная его часть была самой противной: развинчивать, снимать борта, лузы, выдергивать тысячу гвоздиков из старого пропыленного сукна. Пальцы немеют от однообразных напряжений, да еще в горле комом все эти непереваренные сласти: наш опрометчивый наскок на стол, который так же нельзя было съесть, как выпить магазин, нанес, как уже чувствовалось, урон не ему, а нам самим... И все-таки часа за четыре, пыхтя и матерясь на пашкину же предыдущую забивку: все, гад, всадил по шляпки, как под врага, — мы довели работу до конца, и сами сдохли.

Игнатич раньше довершил свой сон, заглянул с припухшим после столь же, видно, содержательного, как застолье, храпака, рыхлым лицом, попялился тупым акульим глазом

на наш труд и ухилил, призвав послеурочно и нас на рыбалку.

Рыбалка эта была не на том пейзажистом водохранилище, а прямо на задах участка. Туда, как и к другим моим, был прорыт отвод от внутреннего озера, напоминавшего осьминога с щупальцами, стяжавшего воедино отдельные владенья Ковыряловки. Игнатич восседал на складном стульчике с японским раздвижным удилищем, время от времени выдергивал из своей щупальцы карасика величиной с ладошку, сцеплял с крючка, бросал в ведро у ног, насаживал нового червя и опять забрасывал. Все это почти не меняя темпа и позы, отчего весь лов походил на какой-то механический перевод малолетних невольников из одного предварительного заключения в другое, окончательное. Он всучил и мне такую же удочку и втавил, против охоты, в состязание на счет. Пашка считал, и выходило опять, как на биллиарде, не в мою пользу. Вместо спортивной злости к мелким одураченным своим обжорством тварям я испытывал что-то обратное: закидывая удочку, втайне болел не за поимку, а за спасение, и потому на каждую мою жертву приходилось три его. Пашка же скакал и радовался как ребенок, вытаскивал, засучивал рукава, попавшихся из ведерка сличал, заглядывал восторженным мучителем в болезненные глаза и рты:

— Игнатич, а чё, они в мутной воде тоже видят?

— Они только в мутной и видят!

— Ишь, мухоморы...

К вечеру клев стих. Пришла хозяйка звать к столу, стала позади Игнатича, возложив с той же затрапезной негой на его монументальные плечи свои раскормленные до филейного налива руки. И я почти физически ощутил в растопленном закатном свете дух нестерпимой благодати, исходящий от картинной пары. Хоть впрямь пиши картину: «Счастье» или «Чего еще надо?» — Игнатич, озерко, удочка, жена, крутые кущи Ковыряловки... И если мне во всей этой пронзительной живописи и было чего-то жаль, то не своих проигрышей, не придурка Пашку, не наглой гекатомбы с общего колбасного стола в пользу филейного процветания одного, а этих никчемно отловленных на смерть карасиков в ведро у мощной пары ног. Даже необъяснимо, почему; но настолько, что когда мы тронулись, я, рискуя показать смешную мягкотелость, предложил, стараясь понебрежней, выпустить их обратно. Но тут вдруг Пашка, сам не ловец, только при-

мазавшийся к добыче, выказал такую бурную жадность, какой я еще не видывал в нем:

— Чё это, выпустить? Изжарить со сметаной — будет во!

Ведь только же вместе пузом маялись — куда! Игнатич без всякой дальнейшей заинтересованности в участии мельчайших братьев бросил:

— Ну, скажи куме, пусть почистит. А то хай кошки жрут...

— Чё это, кошки! Сам почищу!

И я по той же мягкотелости, толкнувшей на заступничество, не посмел спорить дальше...

После обеда и последующих расплатных мук мне, как отбившейся в корчах роженице, уже казалось, что больше в жизни не отважусь на такие страсти. Но только сели за свежеснаряженный стол, да еще вмазали по рюмке, — у меня опять потекли предательские слюнки. Вдобавок ноздри аж щипал сумасшедший запах от насаженного на шампуры шашлыка из осетрины. И я, хоть чувствуя, что делаю опять себе во вред, решил жрать: будь что будет, может, вторично таких изобилий для меня уже не наступит никогда.

Шоферы теперь уехали, зато явилась наконец девчонка. Молча, ни на кого не глядя, возжигая этим снова авантюрную загадку, села, скушала кусочек осетра и выдвинулась из-за стола. Мать только заикнулась:

— Куда ты? Посиди с отцом...

Но Игнатич неожиданно суровым для благодушной позы властелина диссонансом перебил:

— Не трогай, пусть! — и, дав ей удалиться, уже чуть мягче пояснил: — Умолять, знаешь, только хуже.

Жена, покорно мужней правоте, не пряча наконец-то прорезавшуюся сквозь нечеловеческое счастье человеческую грусть, только вздохнула. И, продолжая какой-то завязавшийся меж нами тьмой свежего общения разговор, сказала:

— Скучно ей здесь. Ребята есть, не дружит. Дома тоже не оставишь, Игнатич на работе, ни покормить, ни присмотреть... Школу в этом году кончила, а дальше что — не ясно. Учиться — ни в какую. Все же есть, на выбор, все возможности! Нет, говорит, пойду работать! Что хорошего? Отец всю жизнь работает — так для чего?

— Ладно, мать, не скули, и без институтов проживем. У нас эти, образованные, гурьбой трутся, а что толку?

— Ох, не знаю... А все-таки! С отцом вот на море собрались, может, хоть там развеселится, отдохнет. А то, ну что

ей здесь, действительно: телевизор, книжка, в лес по ягоды — зачем, их вон полный огород, все киснет, девать некуда...

Грустную тему прервала кума со свежей порцией дымящейся шампурной осетрины, на которую сам радовался и рот, и глаз, — со своим нестоющим оптимизмом:

— Игнатич! А поподжаристей?!

— Ай да кума! Не кума, просто умница! Ну махни, махни еще рюмашку с нами!

Махнули все, засластили ананасным соком, и аппетит удвоился. Теперь разъелась с тихой, словно чуть стыдящейся безумства поглощаемых объемов страстью и хозяйка. Пошла уписывать и лосниться наравне с Игнатичем, точно здесь и была одна действительная утешительная сладость, что властно вытесняла сорный элемент несовершенств, печали. Казалось, стоит еще чуть налечь, — и падут, как несостоятельные, остальные пустяковые невзгоды, смерть сама не устоит и сдастся под агрессивней такой невероятно насыщенной жизни!

Пашка на сей раз не только обожрался, но и опился. Сидел, еле дыша, не шевелясь, уже ничего не приемля вовнутрь, боясь извергнуть принятое. У Игнатича к концу заблестел бисерной испариной и лоб, хозяйка тяжело прикинула к нему, так и выключилась. Неутомимую куму и ту подрезало: едва уселась окончательно, чтоб отдохнуть за хлопотливый день на свою «секундочку», как заклевала носом: уронит голову на грудь и тонко: «П-с-с...» — очки падают, дрыг головой, очки нацепит и опять: «П-с-с...» — как тоненький кларнет в апофеозе, отчеркивающий все ключевое торжество последнего широкого удара... Игнатич наконец сыграл отбой, мы с Пашкой как два куля отволоклись в нашу комнату и пали замертво.

Назавтра, после сонного провала, снова зарядился день, — как ни казалось, что все возможное и невозможное уже произошло, стремиться дальше некуда и незачем, оставшейся заботной мелочишки не наскребалось на дальнейший интерес. Но только вышли на веранду — заново, как ни в чем ни бывало, отсервированный стол, со всем дикарским изобилием и ломотой закусок, опять смешал все мысленные карты. А кума уже голосила утренним приветствием со своей адской кухни:

— Секундочку! Сейчас Игнатич выйдет, сядем...

Но я твердо решил больше не ввязываться в оргию, только попил чайку и, бросив Пашку, который, ясно, остался ло-

пать, ушел к трудам. Но все-таки, — сверлила снова мысль, — что это значит? Чего хочет от меня Игнатич? Не даром же все эти ласки? Если вманить в какие-то свои аферы, как меня уже пытались в Академии, когда я сказал: нет, не умею, — а мне: ничего, главное, у тебя честные глаза, а дальше выучим! — напрасный труд... Я шел сюда свободы ради и не продам ее ни за какие осетринные похлебки! Или уже потихоньку продаю? Ладно, как говорил Чума, вскрытие покажет. Надеюсь, убивать он меня не собирается, а на остальное чхать!

Днем мы всей кодлой, за исключением девчонки, пошли на озерко купаться. Ее постоянное отсутствие, с приправой прочих тайн, сверлило исподволь воображение. То, что между нами было, — тот мимолетный, нераскрытый взгляд, — обрастало всяческой фантазией; казалось, будет и еще что-то; мы как два играющих кия столкнемся обязательно; а там, — это уже как исход любой игры, удел непредсказуемого...

Игнатич сам не купался, только наблюдал и вел спектакль:

— Кума! Ты хоть зайди по бабочку!

— Это, Игнатич, где ж?

— А вот тебе Пашка покажет!

— Ой, черти, не надо, я сама!

Она жеманно болтала длинными, висячими в задрипанном купальнике грудями, — и сладкая малина Пашке, обожателю гнилья. Он, так и сяк крутясь, не знал как лучше подобраться: узость и мелкота канавки не давали вволю раздурачиться. У хозяйки же было нежное, почти съедобной белизны тело. Она его стыдливо достала из одежд и сразу, как зашла в воду, поспешила плюхнуться, на что возбужденная событием волна сладострастно облизала губы берега. Они блаженствовали, барахтаясь по-собачьи в перегретой жиже; блаженно с берега утеху созерцал Игнатич... Я тоже окунулся, но вылез скоро. Меня во всем этом утешало другое: я мысленно старался дописать портрет отсутствовавшей, за неимением прямой натуры — от противного. Но было во всем этом и что-то противное, от чего хотелось внутренне отдернуться, как в страхе детской сказки: «Не пей, Иванушка, из копытца, козленочком станешь!»

А вечером к Игнатичу пришли гости: сосед по Ковыряловке с женой и отпрыском, прыщавым малым как раз в тех, с рантом, сапогах и фирменном джинсовом костюме, —

роскошь по тем временам сказочная! Еще они приволокли зачем-то полную сумку шампанского, из чего можно было заключить о принадлежности гостя по клану винзаводчиков. Шампанское откупорили, но, к несказанным завидушим мукам Пашки, пить не стали, так и выдохлось, — всем больше по вкусу пришлось игнатичева экспортная водка с импортным соком.

По случаю гостей спустили и девчонку с ее верхотуры и усадили рядом с пацаном. И я невольно взвелся встречным внутренним напрягом: как поведут себя по отношению друг к другу? Но они пока не вели себя никак; вело застолье старшинство, — на вечную гражданскую тематику, только изощренную среди граждан Ковыряловки изобилием возможностей.

— Главное, — веско комментировал Игнатич, — для человека что? Похавать правильно. Кусок вырезки, только натуральной, не из магазина, и будешь сыт всегда, и здоров, и никаких, — он небрежно кивнул в сторону столовых чуд, — этих деликатесов не надо...

— А в магазине, что ты, Игнатич! Такая дрянь стала, оторви и брось! — жарко поддерживала гостя, не заботясь о том, что сам сторонник моноблюда, возможно, отнюдь небеспричастен к тому: — Я взяла на той неделе говядину у нас, мои и есть не стали!

— Как можно! Человек что ест, то он и есть! Надо уж, если для себя, так самое! Нельзя, чтоб аферистам шло, а людям — нет!

— Вот-вот, Игнатич!

— Заплати, но только чтоб все чисто, благородно. Я сейчас шапку взял на зиму, что надо отдал — зато натура, мех! Наденешь — сразу чувствуется!

— За что люблю Игнатича: скажет — как нальет! — встрял и гость.

И хоть сама суть слов мне никак не была близка, невольно льстило поэтическое превосходство «нашего» Игнатича — вот это вечное коварство формы!

— Ну, кто там, наливай!

Пашка уже исполнил, не успел гость выговорить, милую обузу и вопросительно занес бутылку над стопкой пацана.

— Ладно, плесни чуть, при родителях можно...

— Правильно! — Игнатич знал кругом ответ. — С ребятами не пей, лучше напейся дома, если тянет, при родном отце, — по заблестевшим глазкам отпрыска чувствовалось,

что он как раз не напролом стремился к лучшему, — чем где-то там, на стороне позориться.

— Слушай, дурень, что Игнатич говорит! Поедете на юг, чтоб как отца! И ты, Игнатич, чуть что — прям по затылку его!

Э... вот как тут уже все спето! А я-то дурак! И прыщ действительно раскрепостясь с отеческой подачи, скоро пошел навешивать на ухо моей затворнице какую-то лабуду. Я только расслышал: «на уроке химии...» — и, несколько раз, сквозь давку его смеха: «пердячий газ...» Правда, она воротила или делала вид, что воротит ушко, но где ж ей — все схвачено уже! — отвертеться! Стерпится — слюбится, и снюхается; не сразу же, вероятно, соспели в то филейное, что есть, состояние и их мамы! Но как ни смехотворно отзывалось мое расстройство по чужой пропаже в пашкиной тоске по откупоренным на выброс шампанским пузырям, мне стало безрассудно жаль, что они все-таки уедут, спетой волей пап и мам, на этот юг, и все невысказанное между нами так и останется невысказанным навсегда! Но тут весь ход событий круто изменил Игнатич, оторвав мальчика от его вонючих тем вопросом:

— А у тебя ж вроде была гитара?

Откликнулась, чуткая материнским слухом, винзаводчица:

— Игнатич, три у него, валяются без толку, а путем ни на одной не может!

— А ну, тащи, у нас тут есть свой артист!

Неожиданный заказ, переместивший меня с периферии на центр внимания, раздался как новый вызов в какой-то странно шедшей между нами схватке. Гитара, поданная быстро — видно, дача гостей была неподалеку, — оказалась первый сорт. Если владельцы Ковыряловки и в остальном так рьяно блюли потребительский завет Игнатича, мало ж могло отпасть на долю аферистов! Но мне давался шанс надрать хозяев поля их же снастью; правда, я раньше никогда не использовал свой дар как боевой, но зря, что ли, толкался в Академии, где говорили так: «В Одессе учатся сначала выигрывать, потом играть!»

Тогда я помнил песен тьму: и эстраду, и народные, и классику, — но, чтобы далеко не ходить, и начал с того, залетевшего еще дорогой «Ворона», как следует, со всеми струнными переборами в басу — коронный номер! Народ сразу прибалдел, как Пашка, когда я первый раз распелся

перед ним. Вытаращился дикарем: «Ты чё, как это?» — и долго не верил, как и в консерваторию, что это делается чисто, без всякой тайной, обязательной для Академии «поганки». Но эти скоро стали требовать, как во всяком нагретом до лирического градуса сборище невеж, такого, «что все знают» — горя оптом отличиться в том, что непосильно в розницу. Мне ничего б не стоило осилить глоткой самозванный хор, но я нарочно не делал этого: ничто так не способствует симпатии к артисту, как досада на чинимые ему помехи. И номер удавался: девчонка только и смотрела на меня, — хоть мне, под нажимом публики, и приходилось петь не лучший свой репертуар. Но это все уже, кто понимает, не принципиально; главное — есть контакт или контакта нет. А он был!

Но с набором градусов нажим крепчал, затребовали таких частушек, что той, под кого я рвал глотку и струну, пришлось — и уже явно охоте вопреки! — покинуть сборище. Я подыгрывал механически похабщине, а охмеленный рассудок скакал туда, ввысь, за потолок... Скоро кума, уже не слушая меня, пошла сама, как музыкальная шкатулка, со своим припевом в пляс, крутя руками над головой, как выкручивают лампочки. Прыщ же хныкал:

— Ну, пап! Ну еще чуть-чуть! Ну капельку!

Но «папа», забыв всю педагогию, травил в десятый раз один и тот же анекдот, копируя хмельным занудством неслуха-сына:

— Где у бабы ап-пен-ди-цит, Игнатич? Как войдешь — направо!

Я, улучив ненадобность в своих услугах, вышел покурить на улицу и замер, замороженный сумасшедшей мыслью: что, если впрямь рвануть — туда, наверх? Здесь, посреди логова, нанести бесчестье, о котором можно будет потом вспоминать всю жизнь! Я не знал, в какой именно она из верхних комнат, но в пьяной голове невесть с чего засело диким путеводным лозунгом: «Как войдешь — направо!»

Когда я вернулся на веранду, Пашка уже выкручивал лампочки вместе с кумой — одной рукой, а другой выкручивал ей грудь. Я перевел взгляд в сторону Игнатича — да так и вздрогнул: Игнатич, трезвый как стекло, смотрел прямо на меня и, голову на отсечение, читал насквозь весь мой охальный замысел!

Больше того! Когда гулянку наконец свернули, бесчувственного Пашку открыли от кумы, гостей спровадили, и

я, уже под Пашкин сап, прилег, дрожа как лист, отвагой плана, — за дверью раздались шаги, и невидимая, но ясно, чья рука задвинула внешнюю щеколду. А я еще, когда увидел — подумал: на что она? Вот на что! Я еще не знал, что есть на свете Ковыряловка, Игнатич, — а меня уже здесь ждали!

Но пробуждение мое на следующее утро было радостным. Ага! — раз дело на щеколду, значит, меня уже побаиваются! Есть контакт!

Мы снова сели за чертов стол, но теперь и он оказался не так страшен, как сперва намалевался. Я больше не испытывал натужных мук соблазна и отказа: бесцельный жор просто приелся, надоел; естество, которому надо все же верить, само раскинуло все по местам.

А главное, уже просматривался и конец трудов, — все пыльное и муторное, с чисткой, шлифовкой было позади, оставалась самая искусная и приятная задача: положить свежее сукно, собрать и выверить все по струнке. Обычно я всегда распевал что-то за работой, но здесь от перегрузки брюха, что ли, целых два дня изменял обыкновению: зато теперь наверстывал пробел вовсю. Есть у композитора Донизетти такая замечательная и смешная опера «Любовный напиток». Деревенский парень Неморино, молодец собой, но простофиля, влюбляется в первую и вздорную красотку на своей деревне — Адину. И от любви делается совсем не свой, молчит как пень, морит девчонку скукой и продувает даром залетному вояке-сердцееду. Но тут на горизонте объявляется бродячий чудодей Дулькамара, торгующий любовным напитком: стоит выпить флакон, и та, кого хотел, твоя. Все зелье — обыкновенное вино, но Неморино такой лапоть, что с полной верой в чудо берет на последние и выпивает сразу два. И чудо, к неопишуемому изумлению самого торговца, совершается. Проклятую робость сдувает без следа, малый видит, что на самом деле он красив, смышлен, речист, — не полюбить нельзя! И это тотчас начинают видеть все, — девчонки сыплются за ним гурьбой, Адина в трансе, вояке от ворот поворот. А герою уже деревни мало, ноги тянут на простор, выносят на берег озера, и тут он поет романс — знаменитый романс Неморино, обворожительней которого я не слышал в жизни. Мир запрокинулся, как в озере, в его глазах, несносная вчерашняя тоска стала самым несносным счастьем, жизнь прекрасна! И он все это выпевает одним духом, так, что очутившаяся заботливой случайностью по-

близости Адина сражена в самое сердце, и он одним ударом получает все, делая заодно сногшибательную рекламу ловкому прохвосту Дулькемаре.

Вот этот романс я и затянул между прочим, сажая гвоздики в сукно, сперва тихо, потом незаметно разошелся, даже бросил молоток; Пашка привык, не обращал внимания. Поворачиваю голову — и прямо напротив, на дорожке вижу девчонку с глазами распахнутыми шире Ковыряловки — на меня, а в глазах — полный аншлаг! И тут со мной творится невероятное. Я перестаю начисто видеть белый свет, а вижу свет другой, искуственный: матерчатый небесный свод со звездами, большой луной, нарисованное озеро, явно слышу пиццикато скрипок, вторящий мотиву гобой. Там есть в конце трудный пассаж, я его не пел целиком вообще никогда, надо учить, а тут беру как во сне, нота в ноту, возвращаюсь в тонику, поворачиваюсь с дрожью сердца к яви, — и упираюсь взглядом, как вчера, в стоящего вместо девчонки посреди тропы Игнатича.

Я так струхнул, словно попался невесть на каком, достойном кары преступлении, даже не смысла толком, в чем оно? Но на его загадочном лице была не кара, а что-то еще; он только подмигнул насмешливо:

— Пой, пой! — и скрылся.

Но фокус дьявольского преображения отбил уже всякую охоту к этому. Под конец, когда стол, уже весь в сборе, засиял нетронутой щемящей зеленью, а мы дошивали лузы, Игнатич снова заглянул — полюбоваться. Пашка распелся так старательно, что нам с царской щедростью было выслано по рюмке: веранда уже вступала в фазу ужина... И вот, последнее замечано, пылинки сдуты, я отослал Пашку с благовещеньем, сам начал прибираться. Игнатич явился один, принял труд быстро — все было на его наметанном и, судя по всему, оставшемуся довольным глазу, — и отсчитал прямо на сукно заветный куш:

— Это за работу... — сумма уже явно включала и обещанную премию, но главный сюрприз ждал впереди: — За остальное тоже надо отличить. Я вижу, ты парень хороший, натуральный, наш, попел, потешил бедного колбасника. Надо благородно, не стесняться друг другу помогать. А то русский Ваня только пашет (это он свою, что ли, колбасную запашку, или нашу с Пашей имел в виду?), а мразь пользуется! Я ведь на юг еду, винца хорошего попить, на сол-

нышке погреться людям надо. Мать не любит — хай с кумой крыжовник щиплет. Так вот... Айда с нами?

Я только распахнул онемело рот, но Игнатич был готов и к этому:

— Я знаю, ты парень гордый, ничего даром брать не станешь. Считаю, это между нами в долг, пока, потом рассчитаемся. А кто нам не нужен — и отшить недолго, дело наше. В общем, смотри! Завтра поедем — скажешь. Ну, пошли...

Я еле выдавил: сейчас, дособеру вещички, — и он понятиливо оставил меня наедине с моим расплохом. Так вот чего он хочет?! Не честных моих глаз и рук, а всего, живьем, от гениталиев до глотки! Ну, силен купец! И первой моей мыслью было даже, как ни странно, не хочу ли я того, — а чем, в противном случае, могу чистосердечно отбрехаться? Экзаменами в ГИТИС — в которые и сам все еще не вполне верил? Но я вдруг ясно почувствовал, что стоит заикнуться — и буду держать их не в шитой страхом аудитории, а за винцом, под пальмой, в пляжных трусиках, — а там, глядишь, и без! Поди хреново! Одни глаза, глазищи чего стоят! Дна не видно — и там, и там! Отец ворюга — ну так он же, не я! В крайнем случае, что маловероятно, сядет. Так неужто где-то здесь не предусмотрена такая ископаемая доля, что сама стремится стать моей? А где подъемы ввысь лежат иначе? В Академии? На эстраде? Где? Я с ужасом чувствовал, что логическая мышеловка захлопывается, а вставить в захватывающие дух створки нечего. Честь? Но она — понятие обхожее, тем паче для артиста. И любимый Доницетти не давал ответа. Там, в опере, которую я знал наизусть, есть место, вроде проходное: незадолго до сумасшедшего, конец всему, романса на деревню прилетает весть, что нищий Неморино сделался наследником какого-то отдавшего концы на чужбине дядюшки-богатея. И Адина, идущая на озеро пасть под чарами его бельканто — в курсе! Пустяк, но вот же, вложенный!

Мой путь в цикадных сумерках от беседки до дома как будто сцепил воедино все: жизнь, сцену, выбор. На картинном небе высыпали звезды, отлилась дебелия луна; я чувствовал какой-то драматизм развязки, коей не хватало до осуществленья толики, штриха! Я уже поставил ногу на ступень крыльца, в растерянности шаря взглядом, за безответностью внутри, во внешнем мраке, — и тут: есть фортуна в

пустяках! — наткнулся на спасительную мелочь, кончившую враз все порочное сомненье.

Это было то самое, забытое в пылу обжорства у крыльца ведерко с выловленными мной с Игнатичем и сгубленными пашкиной жадностью карасиками. Сам он их, конечно, не вычистил, а попросить куму, хапая ее за отспелые груди, видно, постеснялся. Так они и стухли и плавали теперь, тускло блистая в освещении с веранды, вверх животиками и уже шибали легкой воонью. И черт знает, что такое они, узники напрасной жизни и напрасной смерти, перевернули во мне — что в нас переворачивает единственная, неисчислимая никаким алгебраизмом нотка? Но всего миг назад пленительное в соблазне сделалось для меня, как в вещи выдумке про оборотня, отвратительным, — и в ту же секунду, с точностью случайного, такт в такт, явления Адины сквозь цикадный звон раздался звук разгона дальней электрички. И я уже наверняка знал не только суть, но и форму моего ответа.

За столом опять галдел вчерашний сбор. Моя Адина, с которой я без малого не обручился, так, кстати, и не перемолвись ни одним словом, была тоже здесь. Но взгляд ее широких глаз больше не прятался и без слов сказал мне все, что мог сказать, — увы и ах! Я сел рядом с Пашкой, выждал, когда общее внимание ко мне рассеется, и тихо бросил:

— Я сейчас еду. Электричкой. Только молчи...

— Ты чё? Пожрем! Завтра свезут, прямо в Академию. Чё Игнатич скажет?!

— Тише! Что скажет, то и скажет. Отбрешишь. — Пашка уже был косою, тащить его с собой невысказанно, как и мне до утра таить ответ, — не из боязни изменить, и даже сообщить, а так: уж если действовать — интрижней вдруг и на ночь глядя.

Я выждал еще чуть, затем, демонстративно достав курево, поднялся. Только одни глаза следили за моим маневром, и я, когда с ними снова встретился, сделал, почему-то сочтя нужным это сделать, короткий, незаметный никому прощальный знак рукой.

На взятие вещей из биллиардной ушла минута, я погасил свет и с легкой, сладко жмушей грустью двинул к выходу из честию побежденного капкана. И вдруг, уже на траверзе освободительной калитки, услышал шаги за спиной, обернулся, — от заднего крыльца дома ко мне бежала девчонка. Я

даже растерялся от непредвиденности так далеко зашедшего успеха; она остановилась в шаге от меня:

— Вы уезжаете?

— Да, надо...

— Возьмите меня с собой...

Мне показалось, я не то ослышался, не то не понял, и машинально переспросил:

— Куда?

— Куда угодно! Только отсюда!

Тут только до меня доехал колоссальный смысл признания. Вот это дернул я — и чем, чистым искусством! — матерого туза! Как получить? Но не успел я, в смеси ликования и отчаянья, что оторвал кусок шире рта, сложить ответ, — как прямо за ее спиной, на отдаленье основной тропы увидел в сумрачных доспехах зловещую фигуру самого Игнатича. Пашка, гад, продал! — успело пронестись в сознании, прежде чем оно окончательно ушло в пятки.

Она тотчас все поняла по моему лицу, и огромные глаза в картинной, под россыпью всех звезд тьме отсыпались такой тоской, что только и бывает в жалостных индийских фильмах, — вот за что, видать, их так пылко любит наш народ! Но я, увы, был не Радж Капур, даже не родной актер Баталов. Меня хватило только смекнуть, что единственное, что я могу снести с победы — это ноги, я развернулся и рванул во весь опор через калитку, через всю пустынную, ни шавки, Ковыряловку, через какие-то поля, — туда, где запевала песню нового пути и далее электричка...

А дальше все сложилось так... Порвав окончательно с Академией, с моим напарником, я, ухватив какой-то дух уверенности в том побеге, налег на подготовку к экзаменам, прошел их благополучно и до сих пор признателен судьбе за все, что она со мной сыграла для такого поворота. Правда, что до девчонки, — некоторое время потом меня не отпускало чувство какого-то неоплаченного долга, словно я нажил свою судьбу ценой невольного предательства и обмана. Но что, действительно, могло быть между нами? Смешно вообразить, чтобы пара самых вдохновенных нот смогла что-то глубоко перековырять в родовой империи Игнатича. Но порой, когда я выхожу на сцену, причем неважно — у нас или в других, процветающих краях, и игра идет, — я чувствую: находится такая связь, что все к чему уже, казалось, нет возврата и отдачи, возвращается. Я словно вижу тогда, где-то по центру зала, эти бездонные глаза и помогаю им,

как не смог тогда, в тот звездный час, уйти, как из проклятой калитки, из закольцованной земной тоски. Не я один, конечно, все на сцене. И пусть мы не поем зазря и маемся своими язвами, пусть эликсир в прохиндейском флаконе Дулькамары просто дешевое вино, — но чудо следует, любовному питью — расхват, и потому, я думаю, мы пользуемся им правильно.
